

Юрий ОНОПРИЕНКО

«НОЧНОЙ РАЗБОЙНИК, ДУЭЛИСТ...»

(Продолжение. Начало в №108).

Матросы разбрелись по острову, таская на корабли воду, бананы, диковинные ванильные ягоды.

Наигравшись, Фёдор Толстой сказал:

— Жан, спроси, что это за рисунки у него на спине и лодыжках? Всё время смотрю — не смываются.

— И спрашивать не надо, это татуировка, пустая забава здешняя, наколка. Колят — и сок, смешанный с каким-то дерьмом, под кожу пускают. Потом за всю жизнь не выведешь.

— Да? А кто это лучше всех делает? Спроси-спроси.

Король поспешно забормотал. Говор был твёрдый и отрывистый, будто камешку во рту перекачивались.

— Сказал, люди вон с той земли, что напротив. Но они там совсем дикари, палки не умеют в зубах носить.

В нескольких километрах плавился в тропических лучах ещё один остров. Толстой задумчиво глядел на него.

Утром Фёдора Ивановича на шлюпе не обнаружили. Его не было целые сутки. Наконец явился — приплыл с соседнего острова на королевской пироге-долблёнке. Поднялся на борт, Крузенштерн его сурово спросил:

— Извольте, поручик, объяснить отлучку.

Фёдор молча скинул одежду. Команда ахнула.

Граф весь — с буйной головы до пяток-тумб — был изукрашен пёстрой татуировкой, штукой невиданной и пугающей. На груди Толстого сидела огромная красная птица с хищным зелёным клювом, по рукам вились сине-коричневые змеи с чёрными жалами.

В цветных орнаментах было даже мягкое место. И даже причинное...

— Это же боль адская, — вскричал судовой врач. — Как вы выдержали, граф? Тысячи уколов всего за сутки.

— Их пятеро ху-

дожников одновременно надо мной работали, — трубно смеялся, довольный эффектом, Толстой.

— А между прочим, я

вождю понравился.

Ни бельмеса я не раз-

обрал, но, кажется, он что-то

готовил мне в подарок, суета

была страшная и пляски.

Я не дождался, поспешил назад,

чтоб вы без меня не

уплыли.

— Войну он гото-

вил! — тонким заячьим

голосом закричал побледневший Жан.

— Смотрите!

От противоположного

берега деслясь к Нукухиве

десять лодок, заполненных

людьми.

— У них стрелы всегда с ядом!

— в панике кричал француз

Крузенштерну. — Умоляю,

храбрый русский капитан,

скорей командуйте пушки к бою!

Иван Фёдорович в нерешительности

поднёс рупор к губам...

— Стойте! — махнул ему

татуированной ручищей вдруг

зашедшийся хохотом Толстой.

— Тут не пушки к бою

готовить надо! Тут... го-го-го-го!

Вершина славы и геройский

конец экспедиции! Га-га-га-га!

Лодки приблизились — и все

увидели в них абсолютно

обнажённых туземных девушек.

Их было много, больше сотни;

они пели и приплясывали

в своих шатках, но быстрых

судёнышках, натёртые

терпкими соками шёлковые

тела светились и разноцветно

мерцали.

Матросы сразу потеряли

головы.

— Ура графу! — вопили они,

кидаясь к лодкам и вынося

туземок на руках. — Ура

туземью!

Капитаны ничего не могли

поделать и скрылись в кают-

компании, вместе с Резановым

и немцем-географом

Лангсдорфом, чуть не сошедшим

с ума от таких позорных картин.

Но ни позора, ни стыда не

было. Был день и была

ночь радостной туземной

любви, праздничной, почти

ритуальной, неостановимо

перетекающей с корабля

на корабль, с палубы на

палубу, с берега в саванну.

— Иван Фёдорович,

снимаемся с якоря! —

через сутки отчаянно

попросил Лисянский,

молодой, ещё

моложе Крузенштерна.



Многое хотелось бы рассказать об ЭТОМ необыкновенном, преступном и привлекательном человеке.

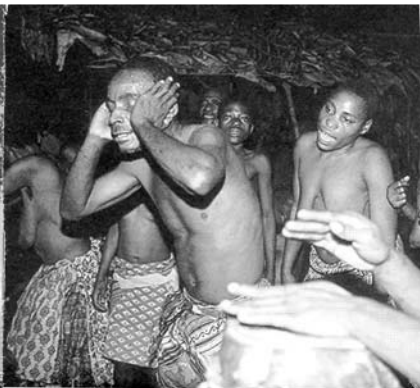
Л.Н. Толстой

— Юрий Фёдорович, хотите бунта? — сцепив в изнеможении зубы, ответил ему Крузенштерн. — Терпите.

И ещё трое суток длилось тропическое торжество. Затем все девушки попрыгали в пироги и отчалили, прощально размахивая руками и матросскими сувенирами — трубками, кисетами, ленточками бескозырок.

— А вот теперь надо побыстрее сниматься, — сказал Крузенштерну Толстой. — Вот-вот примчится новая девичья флотилия, там очень много юных девиц и там, вот король говорит, всё племя хочет стать белым! Чтоб татуировки были видней!

Снялись с якоря так стремительно, что прикорнувший на корме Жан не успел сойти на берег. Поэтому



никогда не вернулся он ни на порученные ему Маркизы, ни в родную свою Францию. Был высажен на Камчатке, побродил по России и в ней благополучно осел.

А вот Толстой успел взять с острова... нет, не осчастливленного короля Танегу, а прыгнувшего с ванильного дерева прямо графу в руки косятого орангутанга.

Эта обезьяна характером оказалась размашистой своего хозяина и весь остаток плавания по Тихому океану сделала для утомлённой и воодушевлённой команды совсем не тихим.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПЕЧАТЬ НА БОРОДЕ

Рыжего орангутанга Толстой назвал Колькой — в пику Резанову, давно уже сторонящемуся Толстого, ставшему в общении чопорным, требовавшему от Крузенштерна посадить Толстого в трюм под арест.

Науськанный Толстым Колька в ответ цеплял послатрашника за штаны длинношейной мохнатой лапой.

Дикий этот обезьян стал властителем палубы — ковылял по ней взад-вперёд, как бдительный часовой, и кидался на матросов, вымогая угощение.

Толстой напяливал на него модный свой "галстук", прочёсывал его шерстяную башку на купеческий пробор, совал в цепкую морщинистую обезьянью ладонь апельсин и заставлял им сбивать с реи подбирающих парус матросов.

За удачный бросок угощал сухим ванильным кристаллом; Колька брал эту приторную мерзость вежливо, пряча чёрные когти со своих тонких чёрных пальцев.

Кроме хозяина, Колька уважал только боцмана-тугодума, с коим Толстой давно сдружился. Потом украл

его сигнальную дудку-свистулку, и боцман попробовал Кольку выпороть — но Колька одолел, распоров боцману щеку.

А затем целый месяц орангутанг ходил под боцманскую каюту, пока тугодум не догадался помириться с Колькой, целую неделю задабривая зверя сахаром и собственноручно чеша обезьяньи подмышки.

Орангутанг при этом блаженно шевелил сдвинутыми бровями, потом показал, что вместо боцмана выбирает другую жертву, судового кока, которому тут же и навредил в камбузе, перевернув все котелки и помяв их ударами тяжёлого черпака.

Посадили Кольку на цепь, однако и Толстой, протестуя, сел с ним, привязав себя той же цепью. Что делать — отпустили обоих.

Они два дня мирно валялись у бака, наблюдая за летучими рыбками. Толстой оброс, чёрные бараньи волосы его не желали выгорать, а взгляд стал с вурдалачьей краснотой, и видно было, что не до рыбок беспривязному графу, что сердце его требует одиссеевых свершений.

У забытых богом Гавайев Крузенштерн отлучился в шлюпку к какому-то атоллу.

Толстой, свистнув Кольке, вошёл в капитанскую каюту, сел за стол, положил перед собой бумажный лист и принялся измалёвывать его, даже поливать чернилами.

Колька внимательно следил.

Толстой между тем скомкал искалеченный листок, засунул в карман и удалился, уведя и орангутанга.

Колька вернулся через минуту. Пока Толстой с самым непринуждённым видом беседовал со старпомом, орангутанг, эта умная и с великим, видать, чувством юмора bestия, раскрыл казённый судовой журнал и по примеру своего горячо любимого хозяина изгваздал его весьма старательно; причём, не мелочился, возюкал по нумерованным страницам не пером, а всей чернильной своей лапой.

Крузенштерн вернулся, увидел содеянное — и курляндское его терпение лопнуло. Порча журнала была сродни диверсии, мятежу и пиратству, сродни надругательству над флагом и песней матери.

— Вы понимаете, что наш судовой журнал предназначен для высочайшего просмотра? Как теперь эту пакость мне по возвращении нести к императору? — говорил капитан, перебесясь наедине, а теперь обращаясь подчёркнуто холодно, поскольку кричать на Толстого он давно уже считал бесполезным и небезопасным. — Итак, забирайте свою тварь и переходите на судно Лисянского. После Гавайев мы идём разными курсами.

— А Резанов?

— Резанов плывёт со мной в Японию с серьёзной посольской миссией и будет рад на время расстаться с вами. Лисянский же идёт сразу в Аляску, куда вам прямая дорога.

— Ну и мило. Мой обезьян тоже от вас весьма устал, а уж я и подавно заскучал, — спокойно сказал Толстой и тотчас перешёл на "Неву".

Больше он ни Крузенштерна, ни Резанова, коим была уготована разная судьба, хоть и одинаково славная, не видел. Его самого ждал жребий гораздо более яркий и редкостный — жребий, с каким никогда не будешь обласкан властителем, но будешь у всех на устах и в памяти.

Лисянский встретил Толстого без радости. Тридцатилетнего капитана тешило только то, что от северного тропика до северного предполярья оставалось недалеко — какая-то осьмушка земной дуги.

"Надежда" и "Нева" покинули пустынные дикарские Гавайи, отсалютовали друг другу и разошлись в океане.

Плаванье "Невы" шло хорошо, Русская Аляска была прямо по курсу. Родная Большая Медведица вновь взошла над горизонтом, а непривычный Южный Крест исчез с глаз долой.

Пришла прохлада, день ото дня становилось легче дышать — и можно уже было понемногу попить.

В трюме "Невы" ещё сохранилась мадера, Толстой это быстро разведдал. Лисянский видел питейные поползновения графа, но молчал, только сдержанно поскверкивал глазками. Хотя у него, наверняка, были на счёт Толстого какие-то строгие указания.

Напарник в хмельном деле у Фёдора нашёлся тоже быстро. Это был пугливый священник Гедеон, старый и измождённый плаванием, поэтому тоже освобождённый от захода в Японию и отправленный прямо на Аляску, в крайнюю точку всей экспедиции.

Продолжение следует.